

Иван Вольнов. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Иван Вольнов. Максим Горький

Иван Егорович Владимиров – Иван Вольнов, крестьянин, сельский учитель – появился на острове Капри в 1909 или 1910 году. До этого он жил где-то около Генуи, кажется, в Кави-ди-Лаванья, а туда приехал из сибирской ссылки. Сослан был как член партии социалистов-революционеров, организатор аграрного движения в Малоархангельском уезде Орловской губернии, – до ссылки сидел несколько месяцев в прославленном садической жестокостью орловском "централё", каторжной тюрьме. Там тюремные надзиратели несколько раз избивали его, а однажды, избив до потери сознания и бросив в карцер, облили солёной водой; раствор этот разъел ссадины и раны, оставив на коже глубокие рубцы.

В ссылке, в глухой сибирской деревне, он работал батраком у зажиточных крестьян, заслужил их симпатии, и они, по собственному почину, организовали ему побег. Для тех времён это не было исключительным случаем, и говорит это не о великодушии мужиков, а только о том, что они понимали: есть люди, которые делают революцию в интересах крестьянства. Сам Иван рассказывал о побеге приблизительно так:

– Мужики там были – хорошие, грамотные, я довольно плотно укрепился в их жизнь, работал, пропагандировал и о побеге – не думал. Но как-то ночью приходят двое и – обрадовали: "Приехал урядник с бумагой, говорит, что тебя требуют назад, в Россию, там ещё что-то открылось за тобой, и тебе, за грехи, добавить надобно. А мы тебя считаем человеком хорошим, так ты беги! Урядника напоили, спит, проснётся – ещё напоим. Про тебя ему сказано, что ты на охоту вчера ушёл. Лошадь – запряжена, вот он отвезёт тебя; доедешь до своих". Я сообразил, что начальство зря в Москву не потребует, а если потребовало – значит, или каторгой угостит, или повесит. Вешалка мне грозила; я был организатором боевой дружины, участвовал в эсках; получая на юге литературу из Греции, был выслежен шпионами, пришлось стрелять, одного, кажется, ухлопал. Вообще – повесить меня было за что, ну и – кроме того шея есть. Расцеловался я с приятелями и – айда! Тихонько, черепахой прополз по России; потолкался кое-где за границей, вот – метнуло сюда.

Его спросили, как понравилась Европа. Он отвечал осторожно: "А не знаю ещё! Пестро очень в глазах и толпёж в голове. Ну, конечно, сразу видишь: здесь настроено, накоплено больше, чем у нас. Землю холят – замечательно!"

В то время ему было, вероятно, лет 25–27; крепкий такой был он, двигался осторожно, тяжело, как человек, который ещё не совсем овладел своей силой и она его несколько стесняет. Над его невысоким, но широким лбом – плотная шапка тёмных, туго спутанных волос, на круглом, безбородом лице – карие глаза с золотистой искрой в зрачках, взгляд – пристальный, требовательный и недоверчивый. Маленькие тёмные усы, губы очень яркие и пухлые; физиономисты говорят, что такие губы – признак повышенной чувственности.

Нерешительную улыбку этих очень юношеских губ сопровождал невесёлый блеск глаз, затенённых густыми ресницами, и на краткий момент круглое, грубоватое лицо Вольнова казалось необычным, даже – загадочным. Говорил он вдумчиво и скупое, немножко ворчливо и по складу речи, по манере её часто казался старше своего возраста, а вообще же от его речей веяло свежестью чувства, прямодушием, простотой. И чувствовалось, что, относясь к людям не очень доверчиво, он и к себе самому относится так же, в нём как бы что-то надломлено, скрипит и, говоря, он всегда прислушивается к этому скрипу.

В первые недели его жизни на Капри сложность и неопределённость психики Вольнова вызвали в русской колонии острова весьма острое, но не очень дружелюбное внимание к нему. В то время на Капри жила небольшая группа литераторов: Николай Олигер, Алексей Золотарёв, Борис Тимофеев, очень талантливый юноша, изуродованный ревматизмом, который потом и убил его, жил стихотворец с четырёхэтажной фамилией Любич-Ярмонович-Лозина-Лозинский, человек нервно раздёрванный и одержимый стремлением всячески подчеркнуть себя; он заодно подчёркивал своё дворянское происхождение, вражду к революции, к реализму в литературе и был похож на музыканта, которого заставили играть на инструменте, неприятном ему. Стихи свои он подписывал псевдонимом Любяр, читал их с пафосом, но в то же время с иронической улыбкой и любил говорить: "Жизнь – дурная привычка". Говорил – и много – о Шопенгауэре, о Генрике Ибсене, причём казалось,

Иван Вольнов. Максим Горький gorkiymaxim.ru

что он раздувает угли, покрытые пеплом и золой. Молодёжь слушала его весьма охотно и почти никогда не спорила против его поношенных парадоксов. В конце концов казалось, что он говорит не от себя, а по внушению извне.

Почти ежегодно приезжал Иван Бунин; мелькали Новиков-Прибой, Саша Чёрный, Илья Сургучёв и ещё многие. Собралось человек десять живописцев. Всё это была молодёжь говорливая, не очень стеснявшаяся в формах выражения своих ощущений и настроений, склонная "углублять психологию", разрешать "трагическую загадку бытия" и "проблему личности". Все были молоды, жили весело; все были очень бедны, но жизнь тогда была дешёвой, и кисленькое каприйское вино тоже дешёво.

Ивана "загадка бытия", должно быть, не интересовала, так же как и "проблема личности в её отношении к обществу". Он внимательно слушал всё, что говорили, но был не очень словоохотлив. По скупым его рассказам было ясно, что он – человек весьма наблюдательный, способный включать пережитое в твёрдую и точную форму. Как уроженец области коренных "великороссов", он отлично владел афоризмом. Иногда в его речах звучали слова из лексикона его земляка Н.С.Лескова: толпёж, галдёж, угнездился, блезир, скудость, мнитья – и много других. Но – спрошенный, любит ли он Лескова – Вольнов ответил:

– Рассказа два-три читал. "Леди Макбет" – очень хорошо, а другие – не помню. Да и – не понравилось, хитрит он и сочиняет на смех кому-то.

Подумав, он добавил:

– Может быть – себе самому. Есть такие, что утешаются смехом над своим и чужим горем.

Вольнов сторонился людей, смотрел на них искоса, исподлобья, веселью не верил и как-то, после пирушки в маленьком кабачке, идя домой, сказал, вздохнув:

– Все какие-то морёные, без вина – не веселятся, хороших песен – не знают. Про революцию говорят, как пасынки про мачеху.

Это было сказано и верно и неверно: веселились и трезвые, потому что веселила молодость, красота моря, буйная сила плодородной земли. О революции вспоминали действительно не очень охотно, но среди этих людей активных революционеров почти не было. Жили интересами искусств и прежде всего литературы: все пробовали писать, читали друг другу рукописи, критиковали, спорили. Иван слушал споры молча, но всегда с таким напряжением, что круглое лицо его каменело, глаза, округляясь, выкатывались, в зрачках разгорался сердитый рыжий огонёк; иногда он тихонько фыркал носом и, взмахивая рукою, точно муху отгонял от лица. Часто он уходил в самом разгаре споров о "смысле бытия". Бывало – спросишь его:

– Вы что всё молчите?

– Я мало читал, не всё понимаю, о чём говорят, что пишут, – отвечал он. – Стихоплёт этот похож на курицу, которая притворяется петухом. Вообще тут все какие-то блаженные, "иже во святых".

Первое время жизни на Капри природа юга Италии интересовала его больше, чем русская литература, и о природе он говорил с завистью, с удивлением, которое часто казалось очень похожим на возмущение.

– Вот бы сюда согнать орловских, а то – сибирских мужиков, посмотрели бы они на землю, на работу! Глядите, черти, здесь на голые камни земля корзинками натаскана, её лопатами пашут, а она круглый год апельсины родит, оливки, бобы. А у вас, там, земля: летом – чугунная сковорода, зимой саван, под ним – одурь, болота, овраги, чорт её знает что!

И неожиданно он заключал:

– А вы, черти, в бога верите, в какой-то божий разум!

На эту тему он рассуждал часто и так решительно, так озлобленно, что казалось: он сам чувствует бога как силу действительно существующую, но бессмысленную и всегда, во всём враждебную мужику. Рассматривая голубые цветы каменоломки на серых, известковых скалах острова, он с негодованием ворчал:

- Вишь ты, как прёт, чорт её дери! Куда ни ткнись, - везде растёт что-нибудь! На железе расти может. Молочай кустами вырос, а - зачем он? Как насмешка всё это.

И вздыхал, встряхивая кудлатой головою:

- Наши тёмные черти работать здесь долго не привыкли бы! Передохли бы с натуги. Круглый год работать не под силу им. Приникли полгода на печи дрыхнуть.

Кажется, раза два он ездил в приморский городок Алляссио за Генуей; там жил Виктор Черной, человек настолько известный, что вспоминать о нём неприятно.

Ко мне он приходил чаще всего поздно вечером, а то - ночью "на огонёк"; придёт, сядет и, вздохнув, спросит:

- Не помешаю? Вы - работайте, я посижу молча.

Было ясно, что он тоскует, что ему трудно жить. Минуты через две он рассказывал, зажав руки в коленях, покачиваясь, встряхивая головой так, точно на ней была слишком тяжёлая шапка, рассказывал о курных избах орловских деревень, о мужиках, которые уходят в Донбасс, в шахтёры, а возвращаются оттуда, надорвав силы, уже не мужиками, не рабочими.

- Пьяницы, драчуны, жён калечат, ребятишек бьют - беда! Кричат бабам: "Ради вас, сволочей, раньше смерти под землёй живём!" Детей в школу не пускают: "Парнишка выучится, на мою же шею сядет учителем!" Это мне в глаза говорили.

Можно было думать, что плодотворные силы южной природы, изоцряя его зависть и озлобление, делают Ивана пессимистом, мизантропом, но когда один из молодых литераторов стал назойливо доказывать ему наличие разума в природе, он угрюмо и твёрдо сказал:

- Ну, это вы - бросьте! Сегодня у вас - разум, а завтра будет - бог! А в бога верят только человеконенавистники, дворяне. Вот - Бунин в бога верит. Это - злая вера.

Его спросили:

- А вы во что верите?

- Ни во что, - ответил он; затем, потише, добавил: - В будущее верю. В человеческий разум. Другого - нет.

Рассказывал, как мужики громили усадьбу князя Куракина.

- Князь - хилый такой старичок, а злой, пёс, был. Притащили его к речке и давай окунать в воду, орут: "Чистоту любишь? Мы тя выстираем, выполощем". В доме, во дворе, ломают всё, как свиньи, в щепки дробят! Я кричу: "Да - сукины дети - зачем? Ведь это всё - ваше!" Никакого внимания! Треск, скрип, грохот. Столы, стулья топорами рубят, бабы из-за пледра разодрались, - отняли у них плед и тоже изрубили. Как будто в вещах и скрыто всё людское горе. Такое было неистовство, что и страшно и смешно. Старик один - тихий такой старичок был - нашёл где-то дворянскую фуражку и, знаете, серьёзно так - мочится в неё. Я, увидев это, даже задрожал: от крепостного права сорок лет прошло, а он, видно, вспомнил что-то, старичок! Девицы сняли зеркало со стены, отнесли в пруд и утопили, да - не просто пришли да бросили, а сели в лодку, выехали на середину пруда и там бросили.

Он засмеялся и, встряхнув головою, махнув рукой, продолжал:

- Потом оказалось, что и сам я тоже какой-то шкафик жиденький ногами растоптал, уж не знаю, чем он помешал мне. Опомился, когда мне в ухо заорал кто-то: "Круши, Иван Егоров!" Зараза!

И - снова помолчал:

- Пьяница один, шахтёр, бесшабашный человек, взял кутёнка, сунул за пазуху и пошёл прочь. Догнали: "Покажи, - что украл? Подай сюда!" И кутёнком - по роже

Иван Вольнов. Максим Горький gorkiymaxim.ru

его! В кровь избили. В день погрома – никто не воровал, а потом, ночью, на телегах ездили, осколки и всякую рвань собирать. Воспитана в народе великая злоба. Это я и на себе испытал, когда меня в орловской тюрьме били. Хотите – верьте, хотите – нет, а когда били меня, ногами топтали, разумеется – больно было, но кажется мне, что я и в тот час думал: "Ладно, учите, годится!"

Он снова негромко и ненадолго засмеялся. Но стоило ему засмеяться, и тогда невольно думалось, что его обычная сумрачность только – личина, а под нею зачем-то прячется жизнерадостный и очень простой, очень милый человек.

Смеялся он не часто, но помногу и – смеялся весь, встряхивая головою, закрыв глаза, притопывая ногами, хлопая руками по бёдрам, по коленям. Его смешила иногда самая простая шутка, неловкое движение, неправильно произнесённое слово, и вообще смех его был не требователен. Очень трудно было объединить этот молодой, даже почти детский смех с тяжёлым грузом страшного, что нёс в памяти своей этот человек.

Ему советовали:

– Вам бы, Иван Егоров, надобно писать об этом!

– Хочется, да не знаю, как взяться! – сказал он. – Даже – пробовал. Не выходит ничего. Дайте-ко мне книг!

Книг он брал много, больше всего беллетристику; читал придирчиво и очень тонко замечал ошибки авторов в описании быта.

– За плохим охотятся умело, – говорил он, и в этих словах чувствовался оттенок личной обиды.

Большинство людей, с которыми он столкнулся на Капри, знали деревню как дачники, судили о ней под углом испытанных ими бытовых неудобств и эстетических эмоций, которые вызывала в них природа деревни. Мужик, которого они более или менее знали, – это "дачевладелец", хозяин тех изб, в которых они снимали комнаты, к этому мужику они относились в лучшем случае снисходительно. А вообще мужик, в массе его, оценивался по старой народнической литературе, но умилительное их отношение к мужику было уже почти стёрто тревожной мыслью Глеба Успенского, мрачными рассказами Бунина и скептицизмом таких рассказов Чехова, как "Мужики", "В овраге", "Новая дача". Всё, что говорилось о мужике, можно было свести к такой оценке его: это – ненадёжная личность; в 1902 году он начал бунтовать и тотчас же встал на колени перед харьковским губернатором Оболенским; в 1905–1906 годах он разорял культурные "дворянские гнёзда", жёг библиотеки, отрезал хвосты живым лошадям, а – по Бунину – содрал кожу с живого быка и пустил его бегать по полям. Эта политически ненадёжная личность была в то же время страшной личностью. Иван Вольнов довольно быстро разобрался в смысле неласковых суждений о мужике. Как-то ночью, за бутылкой вина, вцепившись крепкими пальцами в жёсткие свои волосы, сердито глядя в стакан, он сказал:

– Осудили деревню без всякого снисхождения. Никаких обстоятельств, смягчающих грехи его, не найдено. Видно, что рады избавиться от обязанности думать о нём и что можно перенести свои симпатии на рабочего. А симпатии-то плутонические.

– Платонические?

– Знакомый мой, студент-филолог, Платона – Плутоном называл и всех философов – плутонами, а философию – плутней.

Чем больше он читал и слушал о деревне, о мужике, тем более ясно звучало в его речах чувство личной боли и обиды.

– Чтобы знать деревню, надобно родиться в ней, надобно – вместо материна молока жёванный хлебный мякиш из грязной тряпочки сосать, надобно в шесть лет от роду видеть, как мужик топчет ногами жену, а после того сидит в огороде над лужей, плачет, сморкается в неё и орёт, на смех соседям: "Иди, так твою и эдак, бей меня, я тебя бил, валяй ты меня!" А в небе жаворонки поют, так что и эстетике место оставлено. А то: муж да жена поставили гроб со своим трёхлетним дитём на церковной паперти и сидят, ждут, когда поп церковь отопрёт. Март месяц, сиверко дует, снег идёт, на улице не то что собаки – воробья нет. Денег у них – шесть

Иван Вольнов. Максим Горький gorkiymaxim.ru

гривен без семишника, а поп требует рубль. И во всём селе ни единого сукина сына, кто бы сорок две копейки дал! А не дают, потому что в копейках этих нуждаются "умники", отец ребёнка - "забастовщик", мать - с кулаками не в ладах, грамотница, умная. Или: описывают имущество за недоимки, баба просит: "Позвольте в останний раз самовар согреть!" Разрешили: "Грей, и мы чаю попьём". Она вынесла самовар в сени, да обухом топора и порушила его, в комок смяла! Урядник командует мужу: "Дай ей трёпку, курве!" Муж - дал. Он бьёт, а его натравливают: "Так её!"

Иван был способен часами рассказывать о таких "картинках быта", и слушателю казалось, что этот орловский мужик торопится рассказать о своей жизни всё ужасное и горестное для того, чтоб другим, чужим, ничего не осталось, для того, чтоб перегнуть их в изображении страшной жизни деревни, перегнуть и лишить их права говорить и писать о том, что он знает лучше их.

- Вам надо писать, Иван Егорович!

- Да, надо бы! Только тут встречается вопрос: как быть с правдой? Всю её как будто стыдно писать, выходит сплошь вопль и жалоба, а - кому жаловаться? Ведь - некому! И - на донос похоже: вот, дескать, какие звери живут на земле! Ну, а если - звери, стало быть - ничего, дави их, это - не грех! Дави...

Вопрос об отношении к правде очень тревожил его и долго мешал ему взяться за работу литератора.

- С правдой я не в ладах, - говорил он, натужно усмехаясь и встряхивая тяжёлой головой. И повторил: - Стыдно писать про неё, и никак не могу понять чего-то... Ненавижу я её, как Клещ в "на дне", а иной раз, люблюсь ею, - кажется, что в ужасе её скрыта какая-то умная сила.

- Этого я у вас - не понимаю.

- Да я и сам не понимаю, - угрюмо сказал он и, помолчав, заговорил снова: - Вот - Бунин, ему - легко, не о своих пишет. Он вышивает золотом по чёрному, ну и - себе приятно и людям удовольствие. И - поучительно: читают люди - думают: "Вот какие черти-звери в Орловской губернии живут! Стоит ли о таких чертях заботиться?" - Иван Бунин был автором, который наиболее увлекал и волновал Вольнова.

- Золотое перо, - говорил он, вздыхая, и, смущаясь тем, что похвалил врага, он добавлял:

- А видно, что лаптей - не носил, сена - не косил, земли - не пахал, шапкой пахарю махал.

И - снова хвалил:

- Замечательный писатель! Вот бы эдак-то научиться! - вздыхал он и, закрыв глаза, встряхивая шапкой спутанных волос, читал на память, точно стихи:

- "О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этой мёртвой деревне, молча стоявшей на краю её, в этих бледных равнинах за нею, в этих жнивьях и копнах на их просторе, в этот синий степной вечер, молчаливый, как могила!"

Особенно понравилась, но и наиболее возмутила его "деревня" Бунина.

- В печёнки въелась, - сознался он, усмехаясь. - Написал "Суходол", пропел панихиду дворянству, опомнился - "Деревню" написал. Вышло так: мы, дворяне, плохи, ну, а вы - ещё хуже. Отомстил нашим за своих.

Он читал на память почти целые страницы, читал всегда вполголоса и медленно, прислушиваясь к суховатому и строгому звучанию слов бунинской речи. Прочитает и, помолчав, скажет:

- Просто как! А за сердце берет...

Особенно восхищался он рассказом "Захар Воробьёв".

- Это - на сто лет! - говорил он. - Революцию сделаем, республика будет, а рассказ этот не выдохнется, в школах будут читать, чтоб дети знали, до чего просто при царях хорошие мужики погибали.

Лично Бунина он не любил. Он, даже и захмелев, относился к людям сдержанно, высказывая свои антипатии и симпатии очень редко, скупое, в двух-трёх осторожных словах. Я не помню, чтоб он о Бунине как о человеке говорил худо или хорошо. Он просто замалчивал существование Бунина как человека и даже как будто прятался от него. Только однажды, после какой-то встречи и беседы с Буниным, сказал:

- Он, конечно, считает мужиков неизлечимыми уродами. Мы для него Азия, на четвереньках живём. Попробовал бы, помог мужику встать на задние ноги! А он, вместо того, о прошлом дворянстве скучает.

И, взяв с полки "Суходол", он прочитал:

- "Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники: предки наши были стольниками, и воеводами, и "мужами именитыми", ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И, называясь они рыцарями, родись мы западнее, как бы твёрдо говорили мы о них, как долго ещё держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя или было убито, спилось, опустилось и просто потерялось где-то - бесцельно и бесплодно! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днём всё труднее становится нам вообразить даже то, что было полвека тому назад".

- Слышите? А как раз полвека-то назад - крепостное право было. "Суходол" у него вроде юбилейного плача.

Иван так и оставил за этой книгой подзаголовок "юбилейный вопль", "юбилейная панихида".

Я был уверен, что Вольнов начнёт писать "под Бунина". Он уже работал над "Повестью о днях моей жизни", просиживал над нею ночи, стал молчаливее, осунулся и ходил глядя в землю, точно боясь споткнуться, рассыпаться. Часто спрашивал, как надобно писать о том или о другом, но советы слушал исподлобья и, чувствовалось, не верил им. Его спрашивали:

- Как идёт работа?

Он отмалчивался, но как-то раз сказал:

- Трудновато. Приходится в одно время и пни корчевать и кружева плести.

Но уже ясно было, что советам он не верит из боязни заговорить чужими словами.

Когда он принёс первые главы повести, меня очень неприятно удивила его напряжённая, крикливая манера читать; он кричал как будто из окна в толпу или стоя на телеге. Но оказалось, что так крикливо, коротенькими, резкими фразами повесть была написана, фразы эти сливались в сплошной вопль и рычание, чтение имело характер спутанной речи, которая одновременно обвиняла и защищала. Диалоги он торопливо и невнятно бормотал, а описания выкрикивал, даже как будто выпевал. Лицо у него налилось кровью. Кто-то из слушателей посоветовал:

- Не читайте бегом!

Эти слова очень верно определяли общее впечатление, - действительно казалось, что чтец не сидит, а именно бежит, перепрыгивая через какие-то ямы и кочки, торопясь достигнуть цели. Видно было, что и писал он "бегом", спеша рассказать как можно больше тяжёлого и страшного. Одна за другою, но бессвязно, необъяснённо следовали сцены драк, избиения баб, детей, лошадей, мужик перегрызал горло живому петуху, ревнивая баба вывёртывала сосок груди пьяной бобылки. Повесть каждой страницей кричала:

"Вот как страшно! Вот как! А ещё - вот как! И - вот как!"

Кончив читать, Иван смял рукопись, сунул её в карман и, отирая пот с лица, сказал:

- Ну, знаю, что плохо! Сам слышал, - ни к чорту не годится!

Борис Тимофеев подтвердил эту самокритику:

- Да, это ты - набухал сгоряча! всю свою губернию дёгтем и кровью вымазал.

- Не стоит говорить, - согласился Иван, приглаживая волосы, рука его дрожала.

Ночью, на берегу моря, сидя в камнях, посеребрённых луною, в необыкновенной, тоже как бы окаменевшей тишине, которая возможна только над равниной спокойной, тяжёлой воды, Иван рассказывал:

- Я - не писал, а - спорил. Сам понимаю, что этого не надо было делать. Но хотелось показать, что я знаю страшного и подлого больше, чем знают Бунин, Чехов и всякие Родионовы (Родионов - земский начальник в Боровичах, Новгородской губернии, автор нашумевшей книги "Наше преступление". В этой книге он изобразил крестьян и рабочих-керамистов очень мрачными красками -М.Г.). Вот в чём ошибка. Желаете правды? Вот вам правда! У меня её больше, чем у вас, и моя - тяжелее! Вы её издали видите, а я родился в ней, жил, буду жить!

Он очень долго и горячо говорил о том, что Тургенев, Григорович, Толстой изображали крепостных мужиков мягко, осторожно.

- Когда я читал их, так - оглядывался: разве это наши крестьяне орловские, тульские, калужские? Места - наши, а мужик - не наш! У нас таких тихоньких - нет, я таких - не знаю, не видел. Я знаю страшного мужика, он живёт в грязи, в тоске, он - дикий и несчастный. Значит - что же? При крепостном праве - мужик лучше, благообразнее был?

Покуривая тоненькие итальянские папироски одну за другою, бросая окурки на застывшую воду, он говорил о "Подлиповцах" Решетникова:

- Они - где-то у чорта на куличках, от моей совести - далеко! А вот от моей деревни до Москвы триста вёрст. В Москве - университет, консерватория, Третьяковская галерея, Художественный театр и чорт её знает что ещё! А у меня в деревне - домовые, ведьмы, коновал лошадей портит, рожениц сквозь хомут пропихивают... понимаете?

После этой ночи он стал несколько доверчивее, откровенней, снова принялся работать над повестью и начал больше читать. Прочитал "Мужиков" Бальзака, "Землю" Золя, романы Ренэ Базена, Эстонье - французы успокоили его:

- Пишут деловитее наших, - сказал он.

Он легко находил общее между иностранной и русской литературой; прочитав "Последнего барона" Лемонье, он заметил:

- Это - тоже "Суходол".

Почти никогда не говорил о политике, о партийных программах, революционная литература не интересовала его.

- После прочитаю, - говорил он и всё более углублялся в работу писателя.

Эсеровская закваска его напоминала о себе не часто, но очень определённо. Как-то завязался разговор на тему о необходимости "выварить мужика в фабричном котле", он нахмурился и проворчал:

- Котлов-то нет. Да и строить их никому неохота, кроме иноземцев, а они - гости, которые легко становятся хозяевами...

В другой раз захмелевшая компания, вспомнив об Азефе, начала подтрунивать над партией, боевую славу которой создал провокатор. Вольнов, послушав насмешки минутой-две, сердито заявил:

- Глупо говорите! Азеф – мерзавец, но он предавал людей, а вот люди, которые предали и предадут революцию, то есть, значит, весь народ, они гораздо хуже Азефа!

И сквозь зубы произнёс странные слова:

- Бывало, что и отцы детей жандармам выдавали. Думаете – не было этого? Было...

Как-то незаметно для всех он женился на одной из эмигранток, от неё у него – сын, Илья; теперь это очень серьёзный юноша, отличных способностей. Жил Иван на берегу моря в обломке старинной, сторожевой башни, стена её опускалась прямо в море, и во время прибоя волны бухали по стене с такой силой, что всё дрожало в маленькой квадратной комнате с каменным полом.

В Россию Вольнов вернулся в 1917 году, весной. Его возвращение домой, в деревню, хорошо изображено им в повести, которую он писал в 1928 году, живя в Сорренто. Не знаю, кончил ли он эту повесть: судя по началу, она могла быть лучшим из всего, что ему удалось написать. Я встретился с ним в Москве в 1920 году, он приехал из Орла, где сидел в тюрьме. Безобидно и шутливо он рассказал, что местная власть не терпит его, сажала в тюрьму уже три раза и очень хотела бы расстрелять.

- Они меня арестуют, а мужики тихим манером – телеграмму Ильичу: выручай! Ильич выручит, а начальство ещё злее сердится на меня. Начальство по всему уезду – знакомое: кое-кто в пятом году эсерствовал, потом оказался мироедом, вышел на отруба, землишки зацапал десятин полсотни. Один начальник – сиделец винной лавки, другой был прасолом, в одной волости командует учитель, которого я знал псаломщиком, черносотенцем, наши ребята в шестом году хотели башку сломать ему. Вообще все там, кто похитрее, перекарасились, а мужик остался при своих тараканах. В Малоархангельске среди чекистов оказался ученичок мой, солдат, сын мельника, так он мне прямо заявил: "Иван Егоров, не шуми. Враг разбит, революция кончена, теперь надобно порядок восстанавливать!" – "Как же, говорю, враг разбит, если ты командуешь! Как же революция кончена, если везде торчит ваша чёрная братия?"

Посмеиваясь и как будто не сожалея, он сказал:

- Все рукописи, записки мои арестовали и не отдают, должно быть, сожгли, черти!

Настроен он был хорошо: очень бодро, активно; трезво разбирался в событиях.

- Теперь – главное дело мужика на ноги ставить! Я там, у себя, организовал артель по совместной обработке земли, общественные огороды и ещё кое-что... Бедные мужики значение совместного труда отлично понимают.

Он похвалил мужиков ещё за что-то и тотчас же, как бы выполняя некую обязанность, обругал их за пьянство, за жадность.

- Привыкли в своих избах гнить, как покойники в могилах.

Был он с делегацией мужиков своего края у М.И.Калинина, был у Ленина. О Калинине кратко сказал:

- Староста – хорош! Мужикам очень понравился.

А на вопрос: какое впечатление вызвал Ленин, он ответил:

- От всякого интеллигента барином пахнет, а от него – нет!

О времени между 1917 и 1920 годами мне он ничего не рассказал, а на расспросы хмуρο ответил:

- Зря болтался в разных местах.

После я узнал, что в 1918 году он дважды ездил в Сибирь за хлебом для Москвы, во вторую поездку очутился в Кунгуре среди анархистов, а затем – в Самаре, когда она была занята эсеровской "народной армией". Должно быть, именно в Самаре он



Иван Вольнов. Максим Горький gorki.ucoz.ru  
близко наблюдал тех "вождей" партии эсеров, которые изображены им в повести "Встреча". Наша критика не обратила должного внимания на эту искреннюю и очень жуткую повесть, а она – один из наиболее ярких документов гражданской войны. Мне кажется, что здесь вполне уместно будет напомнить для характеристики Ивана Вольнова его предисловие к этой повести:

"Вам, мои единомышленники, далёкие, неведомые братья мои, и вам, с кем об руку боролся я, посвящаю я эту повесть, которую официальные архиереи от эсерства назовут бесстыдной и гадкой. Вам, кто в течение девяти ярчайших в русской истории лет не находит себе пристанища в стране своей, кто всем сердцем и всеми помыслами предан революции, но влачит жизнь жалкого обывателя, Надо опомниться и осознать ошибки. Я не зову вас перекрашиваться, – это самое бесчестное и постыдное, что только можно сделать, ибо мы не сумеем искренно перекрастись: мы и здруготеста, (выделено М.Г.) – я только призываю вас к мужеству осознания ошибок. Всех перекрасившихся я мыслю нечестными и слабыми: в дни гонений на партию они испугались ответственности за ошибки и преступления её и, играючи, перелетели в чужой лагерь. Так же легко и безболезненно они продадут и новых хозяев своих, если к тому представится случай. Такова психология трусов, стяжателей и честолюбцев. Некоторые из фигур моей повести как бы утрированы. Да, мне хотелось ярче оттенить их слабость, никчемность или ничтожество. Я как бы сгустил краски. Но в жизни они были ещё слабей и противнее. Я хочу, чтобы вы, читая эту повесть, хоть в малой мере были искренни с собой и почувствовали, что мы почти слепы, что наши маленькие ущмлённые самолюбьица натёрли бельма на наших глазах, что Россия не отталкивала нас от себя, а наши самолюбьица превратили нас во внутренних и внешних изгоев".

В этих строчках особенно глубокое значение имеют слова: "Мы не сумеем искренно перекраситься, мы – из другого теста".

В 1928 году, зимою, в Сорренто, я спросил Вольнова:

– Настроение героя "Встречи", бывшего учителя Ивана Недоуздкива, это ваше настроение тех дней?

Он ответил, не задумываясь:

– Я считаю это настроение типичным для многих молодых эсеров в то время. В Самаре, а особенно после отступления из неё, очень многие партийцы рабочие и крестьяне поняли, в какую тущобу крови и грязи завёл их Центральный комитет партии. Были самоубийства, дезертирство, переходы к большевикам. В Недоуздкиве есть кое-что моё – презрение и ненависть к вождям. Моё же настроение более определённо выражено в словах Недоуздкива Португалову и потом в сознании Португалова, когда он говорит: "Мы проиграли". Эти слова говорил я, когда приехал в Самару, увидел вождей и познакомился с настроением "народной" армии. Развелось в ней много бандитов. Большинство, конечно, обманутые мужики, они уже чувствовали, что обмануты, что вожди партии снюхались с царским офицерём, а офицерё ведёт крестьянство на расстрел, на гибель в своих хозяйских интересах. Страшные разыгрывались сцены...

Он рассказывал это сквозь зубы, глядя в пол, шаркая подошвой по кафелям пола.

– Слова Недоуздкива о непробудном пьянстве Наполеончика с партийными проститутками, – это о Викторе Чернове. Я сам ездил за город приглашать его на одно из важных партийных заседаний, он отказался, был пьян, окружён девками. Меня это так ошаршило, что я теперь не понимаю, как не догадался избить или застрелить его...

За всё время моего знакомства с Иваном это был единственный раз, когда его "прорвало". С глубоким отвращением и остро наточенной ненавистью он рассказывал о Чернове и других людях, которым он верил, кого считал искренними революционерами, и было ясно, что поведение партийных вождей в гражданской войне было ударом, который разрушил все верования Вольнова. "Герои" оказались морально ниже любого из "толпы" – вот к чему сводилась его угрюмая и презрительная речь и вот что было, видимо, наиболее тяжёлым моментом драмы, которую пережил Иван Вольнов, человек искренний и простодушный.

Сцена "Встречи", на которую он ссылался, в главном её смысле такова: Недоуздкив говорит:

- Всё у меня оборвалось в душе, Португалов! Всё.

Недоузтков болезненно рассмеялся, хватаясь за голову.

- Ах вы, петрушки, социал-спасители!.. А эти самарские трюки Наполеончика, - какой ужас, какая гадость!.. Это непробудное пьянство, эти шатанья с партийными... (в тексте повести очень резкое и едва ли справедливое слово -М.Г.) по кафе и вертепам!.. А за Волгой лилась кровь... Охрипшими с перепоя голосами вы убеждали молодёжь идти спасать Россию. И молодёжь верила и умирала. Ах, проклятые, проклятые, подлые обманщики!..

- Ах, бросьте свое донкихотство! - сквозь стиснутые зубы проговорил Португалов.  
- Есть другой выход... - Он был бледен, хрустел пальцами. Ставка на демократию кончена. Мы проиграли. Но мы должны быть с народом. Не с царской сволочью, а с мужиками и рабочими. Мы должны предупредить Каппеля. Мы арестуем главнокомандующего и Сольского с его тупоголовыми министрами, открываем фронт и, вместе с большевиками, бьём по Каппелю. Других путей нет. Или - или. Или служба чёрному Дидерихсу, или переход к красным, с которыми народ...

Живя в Сорренто в 1928 году, Иван писал повесть, читал начало её, и мне казалось, что эта повесть будет наиболее зрелым произведением его. Начиналась она сценой возвращения эмигранта-революционера в деревню, его встречей на станции со своим отцом и торжественной встречей, которую устроила эмигранту деревня. В этом торжестве, смешном и трогательном, отец эмигранта не принимает участия, он, в стороне, спрятался под телегу и горько плачет. Из дальнейшего оказалось, что в 1906 году отец, желая спасти сына, выдал его товарищей полиции, а сын, узнав об этом, стрелял в отца и ранил его. Мне вспомнились слова Вольнова, сказанные им давно на Капри по поводу Азефа: "Бывало, что отцы выдавали детей жандармам". Повесть имела характер явно автобиографический, и я спросил Ивана: не его ли это отец? Он задумался, глядя на страницу рукописи, потом, встряхнув голову, хотел что-то сказать и - не сказал ни слова. А дня через два спросил неожиданно:

- Может быть, лучше - выкинуть отца-то?

Я посоветовал ему не делать этого.

- На мелодраму похоже, - пробормотал он, но тотчас же добавил: Впрочем, мелодрама - тоже правда. Если - плохо, так уж - всегда правда.

И не торопясь, взвешивая слова, рассказал:

- В 1906 году было такое - сына должны были арестовать за участие в террористическом акте: убил шпиона и ранил стражника, и сам был ранен; отец террориста, лесник, тоже участвовал в этом акте, но никак не мог помириться с тем, что сына повесят, и сам застрелил его, а потом покаялся попу, тоже эсеру, но поп - выдал его. И отца повесили в орловской тюрьме.

Рассказав, он помолчал и тихонько добавил:

- Об эдаких делах хорошо бы забыть.

В другой раз он сердито пожаловался:

- Тяжело писать! Чорт её дери, эту правду прошлого! Из-за неё ничего не видно...

Как раньше, он всё ещё поругивал деревню, мужиков; было уже ясно, что он делает это по привычке и по желанию быть объективным. Но уже и в словах и в глазах его сияла твёрдая вера, что бедняцкое крестьянство встанет на ноги. Он говорил:

- Годка через два-три увидите, как покажет себя мужик в колхозах! Замечательно покажет! Он умный, он свои выгоды четко понимает.

В нём, несмотря на его обычную сумрачность и перегруженность знанием страшного, сохранилась душевная мягкость, даже нежность, воспитанная, должно быть, грустной природой русской равнины. Он стыдился этих чувств, всячески гасил их, неумело пытался скрывать под личиной грубости и - не мог скрыть. Как раньше, на Капри,

Иван Вольнов. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
так и теперь, спустя почти двадцать лет, он снова на юге Италии восхищался красотой природы, её неутомимым плодородием и негодовал:

- Одним - апельсины, виноград, оливы, а другим - еловые шишки...

Жил он напротив дома, где я живу, ежедневно бывал у меня, но иногда, вдруг, не являлся двое, трое суток, это значило, что он - пьёт. Это уже был "запой". Я слышал, что вино и убило его там, в деревне.

Жалко. Он был ещё молод, очень талантлив и мог бы написать весьма ценные, яркие книги. Он не мог освободить себя из плена проклятой "правды прошлого", и эта правда долго мешала ему видеть, как мощно и продуктивно работает энергия людей, которые вырвались из-под гнёта старой, убийственной правды.

Он всё искал, "кому жаловаться" на страшную жизнь мужика, и не мог понять, что существует и уже правильно действует единственно непобедимая сила, способная освободить крестьянство из-под тяжкой "власти земли", из рабства природы.

Он долго не верил, что сила эта - разум и воля рабочего класса и что на этот класс историей возложена обязанность вырвать всю массу крестьянства из цепких звериных лап частной собственности, уродующей жизнь всех людей. Не верил, что силища рабочего класса несёт крестьянству действительное - и навеки! - освобождение от каторжной жизни.

Но жизнь, суровый наш учитель, всё-таки заставила его поверить в то, что очевидно, неоспоримо, и он, талантливый писатель, горячо взялся за трудную работу организации деревни на началах коллективизма.

Как всякий честный человек, он нажил себе не мало врагов, но неизмеримо больше друзей. Хоронить его собралось несколько тысяч крестьян-колхозников, и он был похоронен как настоящий революционер, с красными знамёнами, пением грозного гимна, в котором всё более мощно, всё более уверенно звучат слова:

"Мы - свой, мы новый мир построим!"

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые напечатано в журнале "Красная новь", 1931, номера 5-6, май-июнь, с примечанием: "Предисловие М. Горького для книги Ивана Вольнова, выходящей в ближайшее время в ГИХЛе". В том же году очерк был опубликован как предисловие в первом томе собрания сочинений Ивана Вольнова, ГИХЛ, издание второе.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту, опубликованному в собрании сочинений И. Вольнова, сверенному с рукописью (Архив А. М. Горького).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!